

ДАЛЬНИЙ ЛОГ



уральские рассказы

ДАЛЬНИЙ ЛОГ

Наталья Бакирова

альпина

ПРОЗА

Москва, 2024

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44
Б19

Издательство благодарит бюро «Литагенты существуют» и лично Дарью Савельеву за содействие в приобретении прав.

Редактор Татьяна Тимакова

Бакирова Н.

Б19 Дальний Лог. Уральские рассказы : [сборник] / Наталья Бакирова. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 304 с.
ISBN 978-5-00223-338-0

Уральский Баженов похож на любой другой провинциальный городок, сосредоточенный вокруг единственного предприятия. Но жители Баженова знают: если смотреть на небо, однажды увидишь, как сквозь тучи пробивается луч, — и становится солнечно и ласково. Маленькие люди Натальи Бакировой мечтают прожить большую, полную ярких событий и подвигов жизнь. У одних получается, у других не очень, но они не отчаиваются и верят, что не среда меняет человека, а наоборот.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

© Н. Бакирова, 2024
© Художественное оформление, макет.
ISBN 978-5-00223-338-0 ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Златовласка

Что ей правда хотелось знать, так это английский. Yesterday... all my troubles seemed so far away... Была в этом языке певучая сила. В языке, но не в учителе — невысоком, тощем, с морщинистым, несмотря на молодость, лицом. Волосы он собирал в короткий хвостик на затылке, куцую причину прозвища Рэббит.

Рэббит мог отчетливо произнести только три согласных: «ш», «с» и «дж». Понять его было нельзя, и, зная об этом, он все важное писал на доске. Это не помогало — почерк тоже был непоправимо дефективен. Поэтому английский казался Полине сокровищем, которое нужно то ли принять из рук Рэббита с благодарностью, то ли вырвать из его рук, спасая.

Хорошо было и то, что на уроках английского «те» — Полина в мыслях не называла их ни по фамилиям, ни по именам, а просто «те» — про нее забывали. Резались в карты на задних рядах. На математике тоже было спокойно: математику вела Изольда Михайловна, Жуда-Изольда. Еще Полина могла расслабиться на литературе, которую «те» частенько прогуливали.

Учебные кабинеты в принципе были им чужды. У них была другая среда обитания: буфет, туалет... Тупичок в конце коридора, где зажимали неосторожных девчонок. И конечно, крыльцо, где курили и матерились. Вечно, вечно они там торчали: вялые и безвольные по отдельности, а вместе становящиеся злой направленной силой.

При виде Полины эта сила тут же приходила в движение. Никогда не получалось спокойно уйти домой. «О, зомби идет! Зомби! Зомби!» Они перемещались, оказывались рядом, смыкались вокруг... Не надо, не надо вспоминать, что бывало, когда они вот так смыкались вокруг!

Дома тоже не найдешь покоя. Ей доставался от силы час тишины, а потом приходила с работы мать — и начиналось. «Поля, у меня все готово, иди ужинать!», «Зачем ты вечно плетешь эту косу? Все девочки ходят с распущенными!», «Опять ты, Полюшка, ночью кричала...» Полина припомнила свой сон: не то полет, не то падение — навстречу мчались зеленые полосы, свистело в ушах. «Давай-ка ты ляжешь отдохнешь». Да разве с тобой отдохнешь, мама? Мне бы и правда лечь, отвернуться лицом к стене, ни о чем не думать, но ты же будешь подсаживаться, и трогать за плечо, и задавать вопросы. Как же от этого устаешь! От того, что жизнь — вся, до самой маленькой минуты, — проходит у кого-то на глазах. Ну да, да, не у кого попало, у близкого человека, но ведь это еще хуже.

Полина говорила: может, ипотеку оформить, мам, сколько можно жить друг у друга на голове? У матери в глазах возникало тоскливое выражение — зверек пойманный, загнанный в угол. Она и метаться начинала, как зверек: бросится к шкафу, начнет хватать книги, переставлять камни, которые остались от отца, — единственное, что от него осталось. Приходилось идти в кухню, заваривать чай, брякать ложечкой, чтобы мать появилась, присела на край старой щербатой табуретки.

Когда Полина была маленькая, она влезала на эту табуретку после ванны, и мать накидывала ей на плечи большое, как плащ, махровое полотенце, чтобы волосы не мочили халат. Влажные волосы были темными, но, просыхая, меняли цвет: сначала в них зажигались одиночные рыжие искры, потом искр становилось больше, а потом такое начиналось сияние! Особенно если встать под лампочку — жар, огонь! Полина казалась себе принцессой, сказочной Златовлаской, а щербатая табуретка была ее трон. По-английски Златовласка — Голдилокс...

Мать на троне сидела неловко, поджимала ноги в растоптанных тапочках.

— Я понимаю, Полюшка, тяжело, неудобно, но вдруг поднимут цены или, там, не знаю... Неужели я так уж мешаю тебе?

Руки ее с выступающими темными венами так и ходили — хватались за сахарницу, за край стола,

покрытого выцветшей потертой клеенкой. Невозможно было на это смотреть, и Полина отворачивалась к окну.

За окном сумрачные улицы, сумрачные дома и нет горизонта. Челябинск после телепередач «Наша Раша» стал каким-то не настоящим, а фольклорным городом — анекдотичным и страшным одновременно. «Челябинские бабки настолько суровы, что в автобусе им уступает место даже водитель!» Наверное, это они, бабки-ведьмы, наколдовали так, что не было в сумрачном городе ни зимы, ни лета, ни осени, а только два сезона сменяли друг друга: время, когда пыль, и время, когда грязь.

Сейчас, в феврале, грязь получалась от борьбы с гололедом. Крупным серым песком засыпаны все тротуары, и ветер-мусорщик гоняет по ним содержимое переполненных урн.

Мать в конце концов простудилась от этого ветра. Простудилась, осталась дома, но в кровати ей не лежит: идет на кухню, нечесаная, шмыгающая носом, в ночной мятой рубашке, наливает Полине чай, мажет маслом батон, смотрит больными глазами.

— Ну вот в чем ты ходишь? Ты же красивая девочка! Разве ты хочешь быть, как серая мышь? Давай-ка, пока ты ешь, я тебе платье поглажу.

Платье шерстяное, с длинными рукавами — мать, слава богу, помнит, что Полина не носит с короткими. Только вот цвет... Радостный цвет молодой травы. Нельзя, нельзя надевать такое в школу!

Но и убежать, шмыгнуть за дверь в привычных черных джинсах тоже теперь нельзя. Приходится натягивать колготки и нырять в мягкое, зеленое, теплое от утюга.

— Ну? Посмотри, как красиво! — Мама тянет Полину к зеркалу.

Полина обреченно смотрит себе в лицо. Тонкий нос, беспокойные карие глаза. Мышь. Мышь-полевка.

За правым ухом можно нащупать тонкий, самый маленький шрам.

В начальной школе она была такой же, как все. Ну бледная, конечно, очень худая. И вот шрамы. Но их Полина всегда знала как часть себя, поэтому, не стесняясь, носила футболки, бегала в шортиках. Дворовые мальчишки шрамам даже завидовали.

С этими мальчишками с июня по август они гоняли на великах по пыльным улицам — возвращались домой тоже пыльные, с черными коленками, — а в зимние каникулы лазили по гаражам, прыгая оттуда в нечистые, будто прокуренные, сугробы. Однажды на них разоралась какая-то бабка: «Шею захотели свернуть? Я щас вам сама сверну! Ну-ка сдристули оттуда!» Бабка толстая, пальто врезается под мышки, пуговицы вот-вот отлетят. «Еще и девочку подговорили!» — «Дак это она нас сюда привела...» — пробормотал маленький и глупый Тимкин.

А в шестом классе мать ей про все рассказала.

— «Вам, мамочка, еще повезло! Люди и с меньшей высоты падают и не выживают!» Тьфу-тьфу-тьфу, не к тому будь сказано... Три года! Три года по больницам! Так что у тебя, доча, можно сказать, два дня рождения.

Именно в то время пришлось продать их большую квартиру, именно тогда ушел отец. Полина же, дура, слушала и радовалась: два дня рождения! Целых два в году!

— Можно я тогда буду оба отмечать?

Она принесла в класс кулек с конфетами. И поделилась историей возвращения с того света.

— Так ты, получается, восстала из мертвых! — сказала классная.

На задней парте хохотнул Сенька Савченко.

— Восставшие из ада...

— Из зада! — ляпнул Тимкин, который вырос, но умнее не стал.

И тут же подхватили, заорали, завывали, шелестя фантиками ее конфет:

— Зомби...

— Зловещие мертвецы!

— Уэ-ха-ха!

— А ну, тихо! — крикнула классная.

Но было поздно: все уже началось. Началось, и теперь непонятно, когда закончится. Метеорит, что ли, должен упасть на Землю, чтобы «те» вымерли, как динозавры?

Хорошо, что дружить можно не только с людьми. Хорошо, что на втором этаже школы есть дверь,

которую другие редко открывают. Большая комната с окнами на юг, между окнами растет в кадке невиданное дерево фикус, с листьями большими и кожистыми, похожими на гладкие лапы. Вверху лапы упираются в потолок — фикус-атлант держит здешнее небо. Под этим небом поднимаются вверх дома-стеллажи. Когда ходишь между ними, то от одного запаха старых страниц, книжного клея, сухой пыли становится легче на душе.

Иногда Полина забегала сюда даже до уроков, но сегодня — проклятое платье! — времени на это не осталось совсем.

В полутемной раздевалке одежда — пустая человеческая оболочка — висит, легко покачиваясь, будто все еще храня движения всех, кто выпростался из нее, умчался в классы: успеть доучить стих, повторить правило, списать домашку, пока не прозвенел звонок.

Полина вылезла из пуховика, пристроила его под чьей-то объемной шубой. Проверила: вроде не видно. Эта привычка появилась год назад, в седьмом классе — после того как ей, выкинув из карманов варежки, напихали туда живых червей. Поймала краем глаза свое отражение в зеркале: узкий изумрудный силуэт. Такой... грациозный.

А может, и ничего, подумала Полина. Может, еще обойдется. Тем более что первой по расписанию — математика.

Жуда-Изоolda всегда вызывала к доске тех, кто не был готов к уроку. Вычисляла их с одного

взгляда. Рассказывали, что сразу после пединститута распределили Изольду в тюрьму, преподавать малолетним преступникам — там-де она и выковала свой жуткий характер. В любом классе математику скоро начинали учить все, неготовых не находилось, и тогда Изольда переходила на простую и справедливую систему алфавитной очередности.

Когда Полина встала у доски в своем изумрудном платье, в классе поднялось... нет, не перешептывание — попробовал бы кто перешептываться у Изольды! — но некое неуловимое шевеление. Как будто сгустилось в воздухе опасное электричество. Изольда — тюрьма научила ее чувствовать атмосферные колебания — подняла бровь. На этом все, конечно, и закончилось бы. Поднятая бровь Изольды все проблемы решала, но... Раздался стук в дверь, в проеме возникла рыхловатая фигура директрисы Валерии Васильевны:

— Изольда Михайловна, на два слова...

Лицо Изольды застыло.

— Я веду урок! — сказала ледяным тоном. — Закройте, пожалуйста, дверь.

Пару секунд это заняло. Всего пару секунд! Но их хватило, чтобы тощая рука с коробочкой сока протянулась к пустому стулу Полины, сжала над ним эту коробочку быстро, бесшумно — и спряталась.

Полина в это время стояла к классу спиной, дописывала решение задачи. Мел скрипел по доске, из-под пальцев сыпалась белая пыль

со строительным запахом. Изольда хмыкнула, ничего не сказала — это означало, что задача решена верно, — и Полина поскорее села на место.

И ведь всегда, всегда смотрела, куда садилась! Уже пришлось однажды слайм счищать с джинсов — а она, как боец-разведчик, все уроки жизни запоминала с первого раза. Но в кабинете Изольды! Такого просто не могло быть. Не могло быть этой сырости, что пропитывала сейчас ткань платья, колготки, липко холодила кожу...

Полина подняла руку, встала:

— Извините, Изольда Михайловна, мне надо выйти.

— Уже не надо! — хихикнул кто-то.

Схватив сумку и прикрываясь ею, Полина убежала из класса.

В коридоре посмотрела, изогнувшись: пятно расплывалось. Безобразно отчетливое на предательском ярком фоне. Побежала в туалет, еще не зная, что делать. Застирать липкое? А потом? Вернуться? Не возвращаться? Но там остались ручка, учебник...

Она простояла в туалете, прижимаясь мокрым к батарее, до самого звонка. А когда он раздался — металлический, дребезжащий, отдававшийся в коленных чашечках, — вышла. Вышла, куда было деваться?

Двери классов распахивались одна за другой. В минуту коридор наполнился гвалтом. Полина ощущала себя сзади — нет, не просохло! — ускорила

шаг, едва не налетев на Рэббита, который с мобильником возле уха шагал в сторону окна, а из кабинета математики прямо навстречу ей вывалились «те». Отсидев урок в редкой для них неподвижности, они были заряжены энергией, которую впору мерить в тротиловом эквиваленте.

Когда-то Землю населяли два разных вида людей, кроманьонцы и неандертальцы. Так, может, и сейчас два разных вида живут? Одни заняты: учатся, ходят в музыкальную школу, играют в теннис, рисуют картины. А другие... Нет у них никаких занятий. Мозг, словно в скорлупе грецкого ореха, закрыт от мира. Вот и слоняются грецкие мозги по обочине жизни, ищут, за чей счет поразвлечься: «А где там зомби?», «Пойдем зомби гонять», «Разбомбим зомбилэнд!»

— Че, зомби, обоссалась?

— Дак она всегда ссыт к доске выходить!

Переместились, оказались рядом, сомкнулись вокруг — так, чтоб за их спинами никто Полину ниоткуда не видел.

И ведь ничего нельзя сделать! Жаловаться — стыдно и бесполезно. Убегать, прятаться? Но тех, кто бежит, догоняют. Тех, кто прячется, ищут. Драться с ними? Да, поначалу дралась. Но «тех» было больше, они всегда побеждали.

Перед глазами вспыхивает неестественно яркий свет. Ей кажется, пол куда-то едет под ногами. Голова наполняется грохотом, и уши закладывает, как на большой высоте. У «тех» — расширенные зрачки,

перекошенные лица. На миг зависнув в воздухе и, кажется, еще в воздухе расколовшись, осыпаются на пол оконные стекла. Из шеи Рэббита торчит треугольный осколок, ворот его рубашки намокает красным.

— Киреева, быстро!

Изольда — как она оказалась рядом? — вталкивает Полину в класс. Миг — и все сидят на полу вдоль стен, прижав спины к холодной тверди. В классе окна уцелели, зато шторы лежат под ними бесформенной кучей. На улице воют автомобильные сирены. «Те» тоже здесь. Изольда вернула их тоже. Молниеносная Изольда.

— Не вставать! — командует она.

Выходит в коридор, закрывает дверь, слышится короткий скрежет ключа.

Никто ничего не говорит, но можно услышать мысли. Тем более что мысли у всех одни и те же. Школу захватили террористы? Упал самолет? Взорвался «Уралтрак»? Полина дрожащими руками выцарапывает из сумки телефон, набирает маму.

Нет никакой мамы. Гудков нет. А на улице всё воют машины, воют и воют. Савченко, тоже с мобилей в руке, кричит: «Нет связи!» Кто-то всхлипывает.

— Война!

Из вентиляционного отверстия начинает хлопьями валить слежавшаяся пыль.

Трудно сказать, сколько они просидели так. Сначала одни, потом с вернувшейся очень спокойной Изольдой. А потом пронеслось, рикошета от стен, слово — «метеорит».

Метеорит рухнул, слава богу, за городом, но самые невезучие все равно от него пострадали. Рэббит вот... Одни говорили, что его даже до больницы не довезли, потому что в рану попал воздух и он умер в машине скорой от этого воздуха. Другие утверждали, что до больницы Рэббита довезли и умер он уже там, поскольку потерял много крови. Савченко с серьезным лицом рассказывал, что Рэббит умер прямо тут, в школе, когда физрук, пытаясь остановить кровотечение, наложил ему на шею жгут.

Так это было странно — пострадать от метеорита... Кто-то с неба бросил в тебя камень. Вот ведь что оказалось: сумрачные-то улицы, сумрачные дома — всего лишь нарост на небесном теле, космическом шаре! Четыре с лишним миллиарда лет этот шар мчится куда-то в холоде и темноте. И в тишине. Звуковые волны там, в космосе, не передаются. Никаких оскорбительных слов не услышишь там. Там другое происходит: вспыхивают сверхновые, зияют черные дыры. Крошечные нейтронные звезды обладают такой силой тяжести, что, высадись на них человек, стал бы весить миллион тонн.

В городе появились новые шутки. «Челябинские металлурги настолько суровы, что заказывают поставки руды прямо из космоса!» А ведь космос и правда, скорее всего, обитаем. Скорее всего, жизнь есть на других планетах. На тех, что находятся в особой зоне пространства — она, как узнала Полина из библиотечной книжки, называется зоной Златовласки.

При этом названии что-то волшебное шевельнулось в памяти. Прочитанное? Приснившееся, может? По-английски Златовласка — Голдилокс...

Голдилокс не была принцессой — просто девочка, которая однажды ушла в лес погулять. И забрела там в дом трех медведей. Сначала попробовала посидеть на одном стуле, потом на другом, но везде было плохо, неудобно — только маленький стульчик сына-медвежонка оказался в самый раз. Вот и Жизнь так же выбирает, где можно появиться, где подходят для этого условия. Выбирать есть из чего: мир не имеет границ.

Больше всего Полину поразило, что решение было рядом все эти годы. Все эти годы ей незачем было мучиться: мир всегда не имел границ.

Мать, конечно, сразу превратилась в загнанного зверька.

— Как же... Зачем? А вдруг... Ведь девятый класс... А лицей этот... Там учиться так трудно! И ездить далеко... Представь, во сколько вставать! И возвращаться позже меня будешь, я тут с ума сойду...

Если у тебя есть решение, самое трудное — сохранить его, когда против тот, кого ты любишь.

Если у тебя есть решение, самое нужное — сохранить его, когда против тот, кого ты любишь. Иначе — понятно, что будет. Исчезнет космос, небо спрячется от взглядов под тощими, как

больничное одеяло, облаками: серенькое небо, скучное, будто и не знавшее никаких метеоритов никогда. Исчезнет космос, вернется ад. «Зомби, не упади, еще переломишься!», «Зомби, что ты там ешь? Чьи-то мозги? Фу, я щас сблую!»

Вот что будет.

Так все и пошло опять своим безнадежным путем.

Одна радость: в расписании снова появился английский. Значит, Рэббит не умер! Полина еще с вечера сложила в сумку учебник с тетрадью и стала ждать. Хорошо, когда есть чего ждать, даже если это всего лишь школьный урок.

Как назло, утром заболел живот. Ей остаться бы дома, лечь, свернуться калачиком, зажать зубами угол одеяла и повить тихонько — но ведь мать напугается, будет метаться по квартире, вызовет скорую. Чуть что, она вызывала эту скорую, и хмурый фельдшер, не снимая ботинок, проходил в их комнату, и наполнял ее запахом лекарств, и мня живот холодными жесткими пальцами, и уходил еще более хмурым. Он уходил, а мать бросалась к шкафу, хватала книги, переставляла камни, поминутно подбегая к кровати:

— Ну что, Полюшка? Как ты? Болит?

И глаза: огромные, умоляющие глаза попавшего в капкан существа.

Так что она потихоньку от мамы проглотила две таблетки но-шпы и побрела в школу, борясь с желанием скрючиться в три погибели. Ну что ж, зато Рэббит вернулся. Вернулась ее маленькая радость.

Однако в классе ждал вовсе не Рэббит. Высокая черноволосая женщина.

— Меня зовут Маргарита Марковна Бергер.

Все звуки она выговаривала четко.

— У меня, если вы в состоянии, конечно, это заметить по фамилии, — немецкие корни. Но, несмотря на это, я никогда не хотела покидать нашу страну. А вот дочь пять лет назад уехала жить в Германию.

Полина вытерла пот, выступивший над губой. Но-шпа не помогла. И боль, казалось, еще усиливал громкий, хорошо поставленный голос, который делился подробностями жизни в Германии русского человека.

— Возникает «эффект туннеля». Чужой язык используется только на бытовом уровне, а свой забывается — начинается процесс деградации.

— Чего начинается? — не понял Сенька Савченко.

Англичанка повернулась к нему.

— Тебе не грозит.

— А-а, слава богу! — Савченко преувеличенно выдохнул и откинулся на спинку стула.

— Твое лицо, как я вижу, и так не обезображено интеллектом. И неудивительно. — Теперь она обращалась ко всем: — Вы же вечно сидите в телефонах! Мозги последние скоро там оставите. Превратитесь в зомби!

Тут же взорвался криками класс.

— Не-е-е-ет!

— Так вот как это бывает!

— Ну и ниче такого, зомби давно среди нас!

Поворачивались, глядели на Полину, которая скрючилась за своей партой, чувствуя, как горячо намокают подмышки.

Коротко процокали каблучки, остановились рядом.

— Вот ты! Как твоя фамилия?

Полина подняла голову.

— Да-да, я к тебе обращаюсь! Если ты сидишь тут с таким страдальческим видом, то зачем ты вообще пришла? Встань, с тобой педагог разговаривает!

«Челябинские педагоги настолько суровы, что вместо указок используют бейсбольные биты».

Полина поднялась, встала ровно, как полагается. И сказала, будто прыгая с гаража:

— Я пришла затем, чтобы учить английский. А не затем, чтоб слушать про вашу дочь и ее жизнь в Германии.

Боль в животе исчезла, словно ее кто-то выключил.

После уроков «те», как всегда, торчали на крыльце. Пахло куревом. При виде Полины привычно переместились, оказались рядом, сомкнулись вокруг. Но на этот раз у них были другие лица. Полина не понимала почему, просто видела, что другие.

— Зомби, погодь!

— Круто ты Бергершу уела!

— Вот кто реальная жуда. Изольда с ней рядом не стояла.

— Да Изольда если наезжает, то по делу. А эта крыса просто.

— Ага, реально ни за что тебя выперла.

— Ты че щас, вообще больше на инглиш не придешь?

— Курить будешь, Зомби?

Полина замотала головой.

— Да ты че, давай, вот у Савки сигу возьми!

— Я не курю...

— Давай-давай, угощаю! — Это Савка, Сенька Савченко, улыбается во весь рот и, видимо, рад, что Полина теперь среди них.

Он, в сущности, не вредный парень.

И даже симпатичный.

Домой она пришла с мерзким вкусом во рту. Села к столу на кухне и долго смотрела в окно, представляя, как мчится по небу огненный шар.

Потом поднялась, достала из шкафа спагетти, из холодильника — сыр и сосиски.

Тарелки уже стояли на столе, когда хлопнула входная дверь — и дальше все привычное, выученное наизусть. Крик из прихожей:

— Поля, я дома!

Короткое шуршание — это отправилось на вешалку пальто; легкий стук — сапоги сняты, оставлены в угол. Потом шаги в ванную, шум тугой струи, вырвавшейся из крана... Наконец мать появляется в кухне.

— Полюшка? Ты что, ужин готовила? Зачем, я бы сама... — Мать засуетилась, передвинула на столе вилки, заглянула зачем-то в холодильник. — Сидела бы занималась... Я бы сама...

Она опустилась на шербатую табуретку, взяла вилку. Осторожно потрогала на макаронах расплавленный сыр.

Полина увидела, что лицо матери побледнело. Мать боялась сюрпризов. Никогда не ждала ничего хорошего, просто не умела ждать хорошего, не научилась за жизнь, в которой единственный ребенок выпал из окна в десятимесячном возрасте, а муж ушел, испугавшись слова «инвалидность», и ей пришлось одной воевать с этим словом, и в этой войне она потратила все свои силы и вообще все, что у нее было своего. Полина опустила глаза. Может, пусть будет как есть? В конце концов, она же не навсегда, эта школа...

Во рту опять возник вкус сигареты, выкуренной против воли.

— Я сегодня, — сказала Полина, — когда из школы шла, встретила Евгения Николаича.

— Кто это? — Мать взяла вилку, начала есть. — По английскому, что ли? Ой, так он же умер!

— Не умер, просто решил уйти.

Он так и сказал ей: решил. И улыбнулся, и пожелал успехов. Вообще его трудно было узнать — морщины исчезли, разгладилось и посветлело лицо. Даже выговор стал понятней.

— А еще, — сказала Полина, не глядя на мать, — я сегодня курила.

Что-то брякнуло об пол. Вилка. Полина встала, подала матери другую.

— Да ты ешь, ешь...

Мне столько всего надо рассказать тебе, мама.

Когда в Челябинск пришла осень — настоящая, с хрустким утренним морозцем и теплыми днями, с синим небом и стойкими оранжевыми бархатцами на клумбах, — Полина начала учиться в лицее. Старалась не привлекать к себе внимания, на парах выбирала место подальше и чтоб у окна — оттуда было видно всех, а ее саму никто не замечал.

Долго, долго ее не замечал никто. До одного ясного октябрьского денечка.

Солнечные лучи в тот день били в окна почти по-летнему, и не хотелось совсем, честно говоря, сидеть на парах — гулять хотелось, шуршать опавшими листьями, смотреть, как сияют в воздухе летящие паутинки.

Посреди этих мыслей Полина не сразу уловила — да и как понять, что это было: шелест? шорох? Общий какой-то вздох, перешептывания через прижатые ко ртам ладони. Подняла голову от парты и увидела, что все смотрят на нее. Лица, лица... внимательные глаза, непонятные улыбки... У нее задрожали пальцы. А потом какой-то лохматый парень в очках сказал:

— Ты прямо это... Златовласка!

Полина догадалась, что волосы у нее сейчас горят под солнцем. И медленно, неуверенно улыбнулась.

Всего лишь театр

Повесть

1

— Ну что, дети... С премьерой! — произнесла Фомина, и все поднялись, и чокнулись (Королевич — соком), и выпили до дна.

Уселись, стали передавать друг другу тарелки, вилки, закуски — запорхали над столом белые салфетки, женские руки, поплыли салатницы. Фоминой немедленно захотелось еще рюмку, но было неприлично. Тогда она вышла в туалет, достала из сумки фляжку и глотнула оттуда. Страшный день — премьера. Дети радуются, дурачки. Думают, это праздник, итог чего-то... А на самом деле не итог — конец. Труд закончен, все, ничего нет! Еще цветов натащили, тьфу, будто на похороны.

Цветы были свалены в углу, от них тянулся сладковатый душок. Еще букет, пока не подаренный, держала в руках Сонечка, соседка Фоминой по лестничной клетке. Прячась за ним, Сонечка вытирала глаза. Вручить цветы сразу она постеснялась: зрители хлопали, что-то кричали, лезли на сцену, сверкали фотовспышками. Лучше будет, подумала,

переждать шум, да и самой успокоиться, кстати, а потом пройти в репетиционную и там тихонько поздравить Римму Васильевну один на один.

Что в репетиционной бушует застолье, ей в голову не пришло.

Говорили, конечно, о спектакле.

— Ты, Каримова, ложишься на мужика, как сильно уставшие люди ложатся поспать.

— Да ну вас! Вы меня еще на репетициях замутили! Даже вы, Николай Палыч!

— А что я, я ничего такого...

— Да? А кто выступал: «Неправильно ты, Ира, на Сеню залазишь, я тебе сейчас покажу, как надо»?

Секс не должен был выглядеть как в жизни, в этом все дело. Ну что хорошего, если двое возьмут и улягутся в кровать? В коробке сцены покажутся они со своей кроватью мелкой деталью. Поглотит их сценическое пространство. А надо — чтоб они им владели, его оживляли, чтобы их энергия наполняла все вокруг. Поэтому Фомина придумала такую картинку: молодые люди гонятся друг за другом. Дурачатся. Потом Ирина толкает Сазонова на скамью, падает сверху — и почти сразу обрушивается занавес, скрывая пару, а на авансцене начинает туда-сюда дергаться самосвал. Детская игрушка, забытая, по сценарию, сыном главного героя. Самосвалом управлял из-за кулис при помощи толстой проволоочки Вовка Маслов, четко соблюдая привычный ритм.

— А давайте, — предложил сейчас Вовка, — следующий спектакль по «Камасутре» поставим!

— Одноактный! — поддержал Николай Палыч, и получилось, что Соня впервые вошла в этот храм искусства на взрыве хохота.

Ее поразило, что они смеялись. Даже Сазонов смеялся. Вспомнила его на сцене: руки дрожат, рубашка прилипла к спине, лицо — сверкающее от пота...

Репутация Сенечки Сазонова в Баженове, вообще говоря, напоминала репутацию берсерка в мирном поселении. И был стишок, частично ее отражавший:

Как-то наш Сазон воробьев кормил.

Кинул им батон — восемь штук убил*.

Сазонов ржал.

— Щас я вам расскажу про воробьев, погодите... Первого своего воробья я убил в восемь лет.

— Плевком зашиб?

— Садист малолетний!

— Мы с отцом принесли его домой, ощипали, поджарили и съели.

— Ох, Сенечка, явно тебя не воробьями в детстве откармливали!

* Слегка измененное стихотворение Олега Григорьева. Оригинал:

Прохоров Сазон

Воробьев кормил.

Бросил им батон —

Десять штук убил.

Соню упихали за стол, не спросив, как зовут. Она сидела розовая, с блестящими глазами: ее почти физически подпирал источаемый Сазоновым жар.

— Так, держите все рюмки! — распорядился Маслов. — У нас тут новый человек пришел, пусть скажет тост!

Соне хотелось сказать, что спектакль был прекрасен, что Фомина — просто подарок для Баженова, подарок незаслуженный и оттого тем более ценный. Какой каприз судьбы занес ее сюда? Режиссеру такого класса надо работать в Москве, с лучшими артистами, по заграницам ездить, сотрясать гастролями театральную среду... Но от общего внимания Сонечка стушеввалась, пробормотала неловко:

— Я бы хотела... за Римму Васильевну.

Не знала Соня, да и никто не знал здесь, что было время, когда Фомина вела другую жизнь. Служила в театре областного центра: всегда аншлаги, и билетов не достать, и постоянные гастроли.

С гастролей-то и начался разлад в семье.

— Это — жизнь? — кричал Дима. — Это — дом? А Пашка? Какая ты мать! Ты же его почти не видишь! Я про себя молчу! Ты хоть раз в жизни ужин приготовила? Чтоб я пришел с работы — и ужин на столе? Как нормальный мужик!

Когда предложили переехать, стать начальником цеха электростанции на Урале, Дима в это предложение просто вцепился.

— Я понимаю, у тебя здесь работа и все такое... — сказал он ей.

— Но это всего лишь театр, — добавил.

— А мы, — напомнил, — семья.

Каждое слово попадало в нее, как пуля.

А Пашка сидел на полу, на полосатом паласе, и катал вокруг себя игрушечную машинку.

Директор местного Дворца культуры, куда Римма пришла с трудовой своей книжкой, обрадовался страшно. Лысый, круглый, упругий как мяч, выскочил из-за стола:

— Да золотая вы моя! Да мы с вами таких дел натворим! Мне нужен — позарез нужен, понимаете? — режиссер массовых праздников! Вы — просто счастье мое!

Директор только что не подпрыгивал вокруг Риммы и явно боролся с желанием прижать ее к груди.

— Все-все-все, я вас оформляю! И — знаете что? Мы для вас откроем театр! Любительский, а? Назовем его — «Гамма»! Как вам? «Гамма»! А?

Звонко хлопнул себя по лбу.

— Вот я осел! Растерялся прямо от такой встречи...

Сделавшись официальным, поклонился, представился:

— Кобрин Борис Петрович. Что же мы с вами запишем, Римма Васильевна? В приказе? Режиссер любительского театра при Дворце культуры «Соратник»?

Он поморщился.

— Любят же, — пожаловался, — давать у нас дурацкие имена. Дворец — «Соратник»! Дворец — и вдруг соратник, бред же!

Римма хохотала.

Ну и пусть, думала, пусть театр любительский. Пусть в этом крошечном городишке. Все-таки — театр. Сцена.

А потом Дима ушел к другой.

Да потому что не было! Не было никакого Димы! Был обычный средний мужик, который после двадцати лет брака берет и уходит к молодой. Тебе пятьдесят, ей тридцать — и в чем его обвинять? А ты иди к своим слесарям, электрикам, дозиметристам — ставь с ними, с деревяшками, Островского, Бунина. Подпирай их светом, музыкой, сочиняй за них каждый жест, потому что сами они ни черта не могут. Пашей девять месяцев — это ж родить можно! — чтобы спектакль шел час. Посмотрят его человек, может, двести, больше тут не наберется, — считай это успехом. И подыхай потом, подыхай, пока новый замысел не придет и ты не начнешь снова пахать, прячась от факта, что никому это здесь не надо. Что давно нет в твоём существовании никакого смысла.

Просрала ты свою жизнь, Римма Васильевна.

Фомина выбралась из-за стола. Ее ухода никто не заметил: у детей начались уже танцы.

Николай Палыч вел Иру Каримову. Огромный Вовка Маслов прижимал к себе Любу, которая

в спектакле играла привидение. Неплохо играла, кстати, несмотря на свою вызывающую материальность.

— Ты меня задавишь! — капризничала Люба.

— Ну, я еще никого не задавил, — успокоил Вовка. — Ребро как-то сломал — это было.

— Ребро?

— Танцевал тоже с одной. Обнял покрепче — смотрю: побелела, слова сказать не может. Думаю: что такое? Ребро оказалось сломано. Потом в больницу к ней ездил.

— И все? Как честный человек, ты должен был на ней жениться!

— Дак она уже была замужем.

Между танцующими ходил и улыбался Королевич. Носил на стол еще какие-то закуски, чистые стаканы. Сын вечно занятой мамы, Королевич отдан был в свое время в круглосуточный детский сад, и бронебойная система тамошнего ухода и воспитания навсегда закрепила некоторые особенности его развития: он был молчалив, запуган, учеба у него не шла никакая, и работать он в конце концов устроился сторожем. В театре Королевич ничего, конечно, не играл, но всегда был под рукой для разных мелких поручений. Фомина вроде бы любила его и как-то берегла: ни разу в жизни не повысила на него голос. Больше-то никто из детей, включая безукоризненного Николая Пальча, не мог этим похвастаться.

Сазонов набросил куртку, собираясь выйти покурить. Посмотрел на Соню:

— Составишь компанию?